

С. Ситар

Несение. Прикосновение. Об акции «182. Лечь-Речь»

*Кто весел — тот смеётся,
Кто понял — ошибётся,
Кто ищет — тот уже нашёл.*

Парафраз популярной советской песни
на стихи Лебедева-Кумача

Можно было бы многое сказать об этом замечательном событии, но я, пожалуй, ограничусь упоминанием о том, что на всем протяжении акции происходящее воспринималось как что-то внутренне музыкальное, чарующее и волшебное. Что-то, расположенное гораздо ближе к кантовскому «прекрасному», чем к его же «возвышенному». Был, пожалуй, оттенок дадаистской театральности и пародии в том, как АМ торжественно возлежал среди лысеющего леса, обложенный QR-кодами, а мы с ДН и ОС суеились вокруг, как какие-то непоседливые душеприказчики вокруг одра ипохондрического патриарха. Но оттенок этот почти не чувствовался. Было очень приятно заколачивать робкими ударами молоточка разноцветные кнопки в кору толстого дерева (вершина которого, как я понял только после завершения акции, каким-то непонятным образом «вросла» обратно в землю). Превалировало ощущение свободы и потусторонности — как если бы все мы уже давно находились в «мире ином».

В импровизированном «послесловии», произнесенном после чтения двух текстов из первого тома «Поездок за город», АМ сделал акцент на том, что среди влияний, которые участники и друзья группы КД испытывали в молодости со стороны передовых западных художников, формально-пластические мотивы преобладали над смысловыми — то есть собственно «концептуальными». Это был, среди прочего, и очередной (подобный, например, рекомендации по адекватному прочтению акций «Партитура» и «Музыка согласия» в Предисловии к 4-му тому ПЗГ) призыв к тому, чтобы не вдумываться особенно глубоко в смысл прозвучавших текстов и относиться к ним скорее как к аудиальной фактуре, «речевому пространству». Тем не менее, мне показалось уместным в этом комментарии обратиться именно к смыслу — к содержанию теоретической полемики между АМ и Никитой Алексеевым, которая, судя по многим свидетельствам, развернулась на рубеже 80-х годов и так или иначе отразилась в двух прочитанных во время акции «Лечь-Речь» текстах: в тексте алексеевской «Речи» (апрель 1980) и тексте АМ «Замечание по поводу комментария Н. Алексеева» (август 1979). Мое представление об уместности такого обращения

основано на убеждении в том, что предмет этой полемики к настоящему моменту стал настолько неуловимым и эфемерным, что никакие, даже самые усердные и скрупулезные усилия по его реконструкции уже не рискуют его исчерпывающим образом раскрыть, то есть разрядить присущее ему продуктивное напряжение. Намерение, соответственно, состоит скорее в том, чтобы дополнить энергию неразрешимости вопроса о смысле самой акции «Лечь-Речь», которой заряжена-заражена ее прямая документация, энергией вневходимости предмета этой давней и чрезвычайно герметичной для внешнего наблюдателя полемики.

В первую очередь привлекает внимание хронологическая перестановка: текст «Речи» НА был в тот день воспроизведен первым, хотя составлен он был почти через полтора года после текста «Замечания», прозвучавшего вторым. Из-за такого порядка исполнения «Замечание» воспринималось как реакция АМ на текст «Речи», хотя фактически оно было ответом на более ранний текст Алексеева — «Комментарий к краткому комментарию А. Монастырского» (июль 1979). Этот не затронутый в ходе акции текст НА был, в свою очередь, репликой на еще более ранний текст АМ («Краткий комментарий к акциям 1976—1979 годов», июнь 1979) и содержал ряд критических атак на предлагаемые АМ трактовки акций КД, формально-теоретический «канон» которых в то время находился в стадии активного формирования.

Было ли что-то общее между текстом «Речи» и алексеевским «Комментарием к комментарию»? Лейтмотив «Речи» НА состоял примерно в следующем: ненужность и неадекватность местного авангардного искусства по отношению ко всем окружающим контекстам свидетельствует о том, что художникам удалось достичь уникальной, невиданной и не достигнутой более нигде степени раскрепощения, абсолютной свободы — которая, однако, подразумевает и высочайший уровень ответственности, а также беспрецедентную трудность задачи совладать с раскрывшимися возможностями из-за обнаружившейся их безграничности. Пункты алексеевского «Комментария к комментарию», на которые критически откликается АМ в своем «Замечании», можно, несколько упрощая, свести к следующим двум пропозициям (судя по всему, квалифицируемым АМ как проявления художественного волюнтаризма — или, в гиперболической терминологии текста «Партитуры» из 4-го тома ПЗГ, как проявления «духовной криминальности» по модели Моцарта, Бетховена, Гегеля, Ницше, Ленина, Гитлера «и других романтиков действия»):

1. Категориальное деление акций на «со зрителями» и «без зрителей» все же имеет смысл, поскольку в первом типе акций «пустое действие» приобретает особую форму «внутренней пустоты» в структуре демонстрации, оставаясь при этом (ценным) предметом переживания

участников, но не зрителей («никак не воздействуя на зрителя» — НА).

2. «Содержанием» акции является не просто сочетание «принципа построения текста» и «плана восприятия», а как бы стоящее за ними обоими «говoreние о смерти» (или говорение об этом говорении), определяемое НА как «экзистенциальная данность, единственно реальная, которая и позволяет делать что-либо». По отношению к ней «построение» и «план восприятия» являются чем-то инструментальным.

(к этому можно было бы добавить наметившееся расхождение по вопросу о статусе и роли в акциях документации-фактографии, но оно, судя по всему, носило скорее тактический характер — в преддверии ряда акций, в которых осевым элементом сюжета стали именно эксперименты с документацией).

Монастырский в своем «Замечании» от августа 1979 года, во-первых, отводит возможность «театральной» трактовки акций на том основании, что их структура в любом случае исключает акт изображения и «посредника-актера»: их место в случае акций КД занимает само «пустое действие», к которому участники, в его версии, не имеют какого-то привилегированного доступа в сравнении с рядовыми зрителями. Кажется поэтому, что введение Алексеевым «программного неравенства» между участниками и зрителями стало одним из признаков, по которым АМ в своем «Замечании» охарактеризовал теоретические артикуляции НА как принадлежащие к уровню «целевой модальности» (этот идиосинкразический термин я обобщенно трактую как противоположность кантовской принципиальной «бесцельности» прекрасного и возвышенного). Во-вторых, Монастырский в «Замечании» предлагает уточненную версию ответа на вопрос о том, что именно тематизируется в ходе акции как специфического типа события — таким обобщающим ответом, насколько я могу судить, в данном случае оказывается формула АМ «текст акции информировал... о границе закрытости мира, которая проходит через план восприятия». Эта формула как будто бы тесно перекликается с запоминающейся «научно-поэтической» формулировкой из Предисловия к 4-му тому ПЗГ (1986): «“недостижимость” абсолютной результативности из-за постоянного ее ускользания в оперативную “принадлежность”». В этом же тексте АМ (возможно, впервые) встречается ставшая затем почти идиоматической мыслеформа «прикосновения»: расширяясь за счет включенности в «пустое действие», сознание зрителя-участника, хотя и не может по определению достичь кантовской «вещи-в-себе», но все же может как-то к ней «прикоснуться» — на краткий или чисто воображаемый миг и лишь в каких-то предельных аспектах опыта типа чистого свечения или звучания. «Прикоснуться» ведь значит в какой-то мере стать этой не скоординированной пространством и временем «вещью-в-себе» — при этом принципиальная «недостижимость» этого состояния определяется тем, что *как таковое* оно

равнозначно смерти физической и духовной. Особенность позиции НА состоит в том, что он описывает эту «причастность к смерти» (соприкосновение с «миром иным») как некую «данность», то есть как в известном смысле предмет обладания. Человек, по НА, не «прикасается» к ней (как бы ненароком), а является прямо-таки ее агентом и рупором — способным *«внятно»* говорить о ней — постольку, поскольку она вверена ему как ее «носителю» («Комментарий к комментарию»). Именно по отношению к такому Человеку оказывается возможным, как это делает НА, говорить об инструментальности не только принципа построения высказывания, но и «плана восприятия» — такого Человека, можно сказать, как апостолов в день Пятидесятницы, каждый слушающий слышит как говорящего на родном для себя языке: получается, что это позиция уже даже не просто «взлетевшего гения», но как минимум успешно прошедшего инициацию пророка (если не знаменитого аристотелевского «Неподвижного движителя» или «Мирового ума»). Алексеев, правда, считает необходимым подчеркнуть в своем тексте, что «данность» он рассматривает не как нечто, уже всегда стоящее в наличии для ее выражения — а как то, что требуется «каждократно переживать заново» — однако сам выбор слов («данность», «единственно реальная...») переориентирует речь НА таким образом, что она становится доносящейся до нас как бы уже «оттуда».

По контрасту с такой направленностью позиция АМ выглядит как «крепкое классическое кантианство»: разумеется, мы всегда мечтаем о башне, доходящей до небес, но надо быть благодарными и за простую хижину на равнине опыта — пусть и небольшую, даже может быть совсем крошечную, но зато продуманную и прочувствованную нами во всех мелочах, а потому относительно надежную (КЧР). Главное — не задаваться и не забывать о скромности. К этой этико-эпистемологической платформе примыкают взгляды относительно современного немецкого посткантианского философа Петера Слотердайка, который, в частности, говорит: «Речь и строительство обеспечивают нам достаточный уровень безопасности в наших повседневных отношениях, и поэтому *от случая к случаю* мы можем позволить себе испытать экстаз» («Теория сфер», 2009, курсив мой — СС). Рассматриваемые с этой позиции, притязания НА действительно приобретают черты не вполне обоснованных, несколько «оголтелых» и подозрительных — иначе говоря, побуждающих к тому самому «свободному („гениальному“) артистическому поведению», по поводу которого АМ в тексте «Вместо музыки» замечает, что «оно всегда остается центральным и целевым в искусстве», добавляя при этом: «однако не в эстетической практике “КД”». С другой стороны, на фоне такой его критики более ожидаемым и понятным начинает выглядеть момент, когда — в мае 1983 года — Алексеев, пусть и с некоторыми подобающими реверансами, разоблачает в ответ всю практику КД того времени как «буржуазную» («Когда в 1979 году...»). Вспоминается в этой связи, что в каком-то из своих текстов Вальтер Беньямин назвал «первым буржуа» Одиссея — за то,

что тот, когда его корабль приближался к Острову Сирен, не захотел залеплять уши воском (чтобы непременно услышать умопомрачительное пение), но при этом предусмотрительно велел привязать себя к мачте. Если ориентироваться по дискурсивному поведению, то роль «хитроумного Одиссея» в паре НА-АМ принадлежит, конечно, Монастырскому. Непонятным и загадочным, в таком случае, остается лишь одно: почему не «одержимый» Алексеев, а именно «осторожный и осмотрительный» Монастырский оказался зимой 1982 года пациентом психиатрической больницы с острым параноидным делирием восхождения по параллельным реальностям ареопагитских ангельских чинов («Каширское шоссе»)?

Возвращение 45 лет спустя к акции Никиты Алексеева «Речь» и окружавшим ее событиям не может не нести на себе отпечаток всего, случившегося позже, а также вопроса о том, не была ли острота той давней полемики в каком-то смысле контрпродуктивной для отношений между замечательными людьми и для их прекрасных совместных дел. Меня лично проявившаяся здесь оппозиция «несение/прикосновение» (или «несение/касание») интересует сегодня в двух ракурсах, в каком-то отношении смежных. Первый связан с «эпопеей Рыбака» как интригующей сквозной темой внутри корпуса акций КД, начиная со «Второй картины» — эту тему также можно определить с помощью термина-понятия «серендипность», расширенно трактуя это понятие как эффект нахождения-обнаружения чего-то важного и искомого не в результате целенаправленных поисков, а в силу как бы совершенно (и даже невероятно) случайного стечения обстоятельств, совпадения. Близкая по смыслу к «серендипности» категория — «синхронистичность» Карла Юнга, а ныне эту тему исследует как будто также сообщество «коинсидентологов» во главе с Йоэлем Регевым. Рассмотренный в размеченном выше контексте «рыбак» подбрасывает, как ему свойственно, неожиданный сюрприз: с одной стороны, он, безусловно, представляет собой «касание-прикосновение», которому соответствует момент случайности, абсолютной негарантированности; однако с другой — это «касание» вовлекает, втягивает в круг согласованной реальности вполне осязаемые объекты, которые в каких-то случаях можно даже унести с собой после акции. И все же приходится признать, что в применении к «рыбаку» «несение в полном смысле» должно было бы означать способность производить «рыбаков» в любом количестве по своему произволению, что не то чтобы принципиально невозможно, но скорее в корне обесмысливает, обесценивает и дискредитирует это интересное психофизическое явление. Второй интересующий меня ракурс — этический, ракурс возможных или привлекательных трансформаций нормативности в силовом поле ценности. На первый взгляд, с этим регистром все понятно, хотя и невесело: парадигма «несения» толкает нас на твердую, но сомнительную почву миссионерства-мессианства — по модели, скажем, киплингского «бремени белого человека» и т.п.; путь «прикосновений», в свою очередь, уводит на заведомо скользкую почву

практического промискуитета и безответственности. «Несение» предлагает иерархическую модель, «прикосновение» — эгалитарную. Но здесь мы вновь сталкиваемся с тем, что жизнь и история оказываются как бы в перевернутом отношении к теории. Про АМ — дискурсивного сторонника «прикосновения» — как раз таки совсем не скажешь, что в сфере действия, деятельной реализации он, что называется, «оставил первую любовь свою» (несмотря, среди прочего, даже на временное клиническое поражение психики); практический же путь НА — сторонника «несения» — складывался как будто бы, наоборот, из серии радикальных отречений от любых определенных деятельностных координат, стоило лишь этим координатам хоть сколько-нибудь стабилизироваться (можно добавить, что это траектория становления полностью в духе «негативной диалектики» Теодора Адорно). Удалось ли НА в итоге, как он сам это формулировал, «сломать генератор»? — вопрос, требующий дальнейших исследований и размышлений.